

Всероссийская олимпиада школьников по литературе - 2013

Задания заключительного этапа

11 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

Л.Н. Андреев

Полёт

I

День полёта начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два: луч раннего солнца, проникший в тёмную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намёков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением.

Юрий Михайлович Пушкарёв был опытный офицер-пилот; это значило, что в течение полутора лет он уже двадцать восемь раз – ровно столько, сколько было ему лет, – поднимался на воздух и всё ещё был жив, не разбился, не переломал себе ног и рук, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, он знал цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными – пожалуй, даже жестокими немного; но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний её смысл. «Упаду так упаду, – думал он, – что ж с этим поделаешь; а может быть, до тех пор и машину сделают такой, что падать не надо, вот я и обману смерть, проживу до старости, как другие. О чём же гадать?»

И, думая это про себя, он улыбался той своей спокойной улыбкой, за которую так любили его и уважали товарищи. Но жил в его теле кто-то ещё, кто не поддавался увещаниям, твёрдо знал своё, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь, – и этот другой страшился страхом трепетным и тёмным, и после удачного полёта этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл, а перед полётом каждый раз мучил душу, наполнял её вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полёта.

Вечером, перед сном, Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным тёмным и зелёным улицам маленького городка, где они временно жили; и уже в половине одиннадцатого, когда в доме ещё возились, лёг в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью; потом, долго или коротко, спустя, что-то широкое заходило над головою и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинуло пределы узкого, тёмного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжкое, как узы, тупое и мёртвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко: как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край; и стало казаться в долгой грёзе, что он не человек спящий, а сама морская волна, которая, то падая, то поднимаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору.

И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны по безбрежному простору, когда, то падая, то поднимаясь, идёт она в глубокую беспредельность. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя – уже птицы звенели за окном – привиделся и тот радостный, волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием.

Будто проснулся он на рассвете в тёмной комнате, где спал почему-то один, без жены; и хотя жены не было и комната была незнакомая, но была она в то же время своей, настоящей, той, в которой он всегда жил и живёт. Проснулся он будто от тревожного и страшного сна, с тёмным взглядом и стеснённой грудью: было тяжело и печально. Тогда поднялся он и вышел в соседнюю комнату, где было уже светлее, так как только на одной стороне ставни были закрыты, а на другой уже пробивался в окна мягкий, розовый, спокойный свет. «Как хорошо и спокойно: все спят», – подумал он, успокаиваясь; и тут внезапно – так всегда было в этом чудесном сне, – внезапно вспомнил, что, кроме этих хороших комнат, у него есть другие, прекраснейшие, – в которых он почему-то давно не был, даже совсем забыл о них. С радостным ожиданием он открыл очень высокую белую дверь и тихо, босыми ногами, вступил на гладкий и тёплый пол забытых прекрасных комнат. Их было много, и они были тех огромных и торжественных размеров, какими бывают комнаты и залы только во дворце; и всюду, во всех углах, стоял тот же неяркий, но спокойный и радостный розово-утренний свет. «Как хорошо! И как я мог забыть!» – думал он, тихо скользя вперед, в тишину и высь всё новых и прекраснейших зал, полных света и умиленной радости; и так дошёл он до двери, за которой послышались голоса. Он осторожно заглянул и увидел, что сидят на полу два маляра, что-то делают и тихонько поют.

Тут Юрий Михайлович проснулся, но ещё с минуту, радостно и глубоко волнуясь, не мог понять, где кончается сон и начинается настоящее. На ночь окна в их спальне закрывались ставнями, и теперь прямо в глаза ему что-то ослепительно ярко блистало; он отодвинул голову и увидел острый и прямой луч, идущий от круглого отверстия в ставне, где вывалился сучок, увидел круглое пятно на подушке и розовый сумрак, наполнявший комнату. Потом увидел сбоку от себя тёмное пятно волос, голую руку, услышал тихое дыхание – и сразу всё вспомнил и всё понял: и что сегодня ему лететь, и что это милое, что так тихо дышит, есть его жена, и что июльское солнце, поднявшись, стоит против окон и, вероятно, весь мир заливает светом. Попробовал себя, не страшно ли ему лететь, но вместо обычного крепко сдерживаемого страха было глубокое и радостное волнение: как будто ждет его сегодня необыкновенное и великое счастье. «Сегодня я полечу!» впервые со всей чистотой восторга, радости неомрачаемой подумал он о небесном великом просторе, предчувствиями которого всю ночь жила его душа.

Если бы не этот луч солнца, Юрий Михайлович поспал бы ещё час или полтора; но теперь невозможно было ни спать, ни оставаться в темноте, душной и тяжелой; и, осторожно сойдя с постели, стараясь даже не глядеть на жену, чтобы не разбудить её взглядом, он наскоро оделся. Но та спала крепко: с вечера ей долго не давали уснуть беспокойство и нежная любовь, а потом чем-то страшным измучила гроза – иные были сны у женщины. И теперь она отдыхала. Захватив папирос и все так же не глядя на жену, Юрий Михайлович вышел из спальни в тихий свет пустых и неубранных комнат, ещё хранивших в углах ночные тени.

В кухне уже возился с самоваром и колол лучину сонный денщик, каждым движением своим перегоняя с места на место тучу ленивых, тяжёлых от ночи мух; но на дворе, и в садике, и на улице, обсаженной тополями, как аллея, было безлюдно и тихо. И хотя давно уже звенели птицы, и по двору прошла кошка, старательно выбирая сухие места и избегая холодной и сырой тени от дома, и даже проехал на станцию извозчик – казалось, что никто ещё не пробуждался к жизни, а живёт во всем мире одно только

солнце, и только одно оно есть живое. Так оно было ласково и так грело глаза и усы, что Юрий Михайлович сделал невинное лицо и надолго притих; потом совсем по-детски подумал, что с солнцем можно говорить: правда, ответа не услышишь, но самому говорить можно, и в этом будет не меньший смысл, чем в разговоре с человеком.

И вспомнил он – все ещё сохраняя невинное лицо и не торопясь открыть согревшиеся глаза, – как всё детство своё он мечтал о полёте. Вспомнил, как он подпрыгивал и снова падал на землю, оскорблённый, негодующий, не понимающий, почему же он не полетел; как уже небольшой прыжок с высоты давал робкое впечатление полёта и как до слёз почти, до настоящей душевной боли хотелось всё отдать, всем пожертвовать, от всего отказаться только за то, чтобы перелететь через соседский дом. И именно этот соседский дом, одноэтажный мещанский домишко с прогнившей деревянной крышей, приобрел такую значительность, что при первом настоящем полёте, за тысячу верст от родины, когда от волнения ни о чём не думалось и не вспоминалось, он вдруг вспомнился Юрию Михайловичу.

Но неужели он действительно уже летал и сегодня полетит?

На небе не виделось ни единого облака, и там, где грохотал ночью гром и откуда падал дождь на землю, теперь раскидывалась ясная и бездонная синева. По книгам это называлось воздухом, атмосферой, но по чувству человеческому это было и вечно оставалось небом – извечною целью всех стремлений, всех поисков и надежд. «Всякий человек боится смерти, и кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то?» – подумал Юрий Михайлович, не отводя глаз от бездонной, таинственно сияющей синевы и на фоне её рисуя памятью знакомые загорелые близкие и почему-то очень дорогие лица товарищей, офицеров-летчиков. Правда, разговор их пуст и смешно деловит: так же, вероятно, разговаривает и он сам о своих полётах; но кто же не знает, что иногда совсем не нужно слушать разговора людей, которым они невинно и хитро лгут, а надо видеть лица, глубину глаз, чистоту белых, неиспорченных зубов.

И от этих мыслей, ясных, простых и чистых, как чисто было утреннее солнце, ещё увеличилось то радостное волнение, с которым он проснулся; и, идя к дому, Юрий Михайлович зачем-то ещё раз поклялся себе, что всегда будет любить своих товарищей и будет неизменным другом своим друзьям. Но тот, кто умеет не слышать пустого разговора и мыслей, а смотрит в глубину глаз, на чистоту молодых неиспорченных зубов, тот иной смысл открыл бы за этой наивной и ненужной клятвой. И тот и сам бы не сказал ненужного, а молча и крепко поцеловал бы в уста весёлого, лёгкой походкой идущего к дому человека, у которого улыбка так приветлива и спокойна, а в глазах мерцает уже далёкий свет.

Войдя в спальню, Юрий Михайлович тихим поцелуем разбудил всё ещё крепко спавшую жену.

II

Был у Юрия Михайловича один несомненный дар: он умел молчать легко и приятно, и это делало разговор с ним всегда интересным и значительным. Прямых, определённых и в своей определённости всегда немного резких «да» и «нет» он не любил в разговоре и заменял их спокойной и ласковой улыбкой, своё мнение высказывал осторожно и нехотя и больше предпочитал слушать других. Казалось бы, что при этом качестве своём он должен был представляться товарищам загадочной натурой, человеком скрытным, ушедшим в свои сокровенные переживания, а выходило почему-то наоборот: все в полку, кончая молоденькими, только что произведенными подпоручиками, были убеждены, что знают его насквозь, знают гораздо лучше, чем самих себя. Ибо каждый для самого себя был только путаницей сложных, меняющихся настроений, неожиданных мыслей,

внезапных переходов, изломов и скачков, а Юрий Михайлович всегда оставался ровен, спокоен и ясен; и так же ясна, проста и понятна была его жизнь с красивой, любившей его молоденькой женой. Когда какой-нибудь поручик проигрывал в карты или в пьяном виде устраивал дебош, после которого стыдно смотреть даже в зеркало, он непременно шел к Пушкарёву посидеть и образоваться; и, сидя и образуясь понемногу, уже начиная видеть возможность новой жизни, он с некоторым великодушным сожалением смотрел на Юрия Михайловича, сравнивал бездны своей души с его ясной плоскостью и думал: экий ты, брат, ясный! И один шутник пустил было удачную кличку: «Наш разъяренный»; но, как ни удачна была кличка, долго держаться, при уважении товарищей к Юрию Михайловичу, она не могла, вскоре перестала возбуждать смех и позабылась.

И в это солнечное утро Юрий Михайлович был приятно молчалив и ясен, по обыкновению, разве только особенным светом глаз выдавал своё радостное, всё растущее волнение; и, как всегда это случалось, его видимое и ровное спокойствие передалось жене, Татьяне Алексеевне, ровным светом зажгло и её красивые чёрные, слишком блестящие глаза, немного по-азиатски приподнятые к вискам. Ещё только недавно она была полна ночного ужаса, ужасных предчувствий и видений, а теперь, наливая мужу чай и поглядывая через открытое окно на синее праздничное небо, она никак не могла ни понять, ни вспомнить, что страшного было в этой сияющей, обращённой кверху, знакомой глубине. «Глупости, нелепые сны!» – думала она, передавая стакан и с любовью глядя, чтобы не обжечь, на смуглые, твёрдые, никогда не дрожащие пальцы мужа; и вдруг засмеялась, сперва весело, потом даже сердито немного.

– Ты, Юра, просто обманщик, гипнотизер!

Он улыбнулся.

– Почему?

– Просто фальшивый человек – не смейся! Когда я с тобой, мне кажется тогда, что ничего не может случиться, а ведь это же неправда, ведь всегда что-нибудь может случиться! Разве можно быть такой спокойной, как я сейчас, ведь это же неправда, а делаешь это ты. Я вовсе не хочу быть спокойной, это просто глупо!

И, уже стараясь взволновать себя, вернуться к потерянным ощущениям страха и беспокойства, она стала припоминать и рассказывать, немного сочиняя, свои тёмные сны, но страх не возвращался, и чем глубже было спокойное внимание Юрия Михайловича, тем явно несообразнее, просто глупее становились убедительные сны. Точно ребёнок, который долго рассказывает взрослому вздорную, самим сочиненную сказку – и вдруг видит толстые волосы на бороде, большие, ласковые, внимательные, но безнадежно умные глаза, сразу обрывает: не хочу больше рассказывать!

– Нет, Юра, ты сегодня ещё хуже, чем всегда!

Но ещё не отзвучали ласковые слова, как всю её залило чувство совсем необыкновенного, острого, почти мучительного счастья. Покраснев до самых плеч, белевших в вырезе платья, она закрыла лицо руками и склонилась к столу – ни взглянуть, ни слова промолвить она не могла бы теперь ни за что в мире. А сердце билось всё сильнее и томительнее в ожидании первого слова, которое произнесет он, и это будет невыносимо: первое слово! Но он, необыкновенный, как её счастье, не сказал ничего и только осторожным и тихим поцелуем прикоснулся к её снова побелевшей шее.

Потом время побежало быстро. Пошли сборы, одевание; Юрий Михайлович сам, как всегда, своими твёрдыми смуглыми пальцами застегнул ей блузочку на спине, он же её и расстегнет, когда вернутся. Но что бы ни делалось вокруг, чувство необыкновенного счастья не оставляло Татьяну Алексеевну, укрепилось твёрдо, стало чувством самой жизни; и что бы ни случилось теперь, упади Юрий Михайлович на самых её глазах, увидь она его труп, – и тут бы она не поверила ни в смерть, ни в печаль, ни в роковое одиночество своё. Утверждением вечной жизни и отрицанием смерти было счастье, и не бывает счастье другим.

И, как всегда, уходя из дому, Юрий Михайлович забыл зайти проститься с ребёнком, и, как всегда, жена напомнила с упрёком и повела в детскую. Каждая дружная молодая семья создает свой домашний язык; и на их языке мальчик Миша, имевший от роду год и два месяца, назывался Тон-Тоном и пренебрежительно: Тончиком. Никаким отцом Юрий Михайлович себя не чувствовал, и ребенок с своими короткими ножками, беспричинным восторгом и гениальностью вызывал в нём только снисходительное удивление. И вес его был ничтожный, также удивительный. Теперь Тон-Тон был заправлен в конусообразное креслице на колёсах, с круглым отверстием посередине, куда его вставляли; когда Тон-Тон падал в какую-нибудь сторону, кресло катилось и не давало ему упасть – и это называлось: он ходит. Носило его по всей комнате, но иногда ему удавалось наметить свою цель и даже достигнуть её.

Юрий Михайлович засмеялся; засмеялась и жена, но сейчас же обиженно сказала:

– Тебе смешно, а ему это нисколько не легче, чем твоя авиация. И ты летишь только потому, что всё время падаешь, чем же он хуже?

– Правда, – согласился Юрий Михайлович. – Нисколько не хуже.

Но нельзя было не смеяться, глядя на Тон-Тона, и Юрий Михайлович сказал:

– А что, Таня, если бы нашим пьяным по выходе из Собранин даватъ такое же кресло; понимаешь, нельзя ни упасть, ни заснуть – ужасное положение!

Но Татьяна Алексеевна не нашла ничего смешного в этой мысли и коротко ответила:

– Не люблю пьяных. Возьми же его на руки и поцелуй. И ты напрасно презираешь его и думаешь, что он ничтожество, любит только твои пуговицы: он всё понимает.

III

Когда Юрий Михайлович с женой подъезжали на извозчике к аэродрому, голубая пустыня неба ожила своею жизнью: от горизонта поднимались и, развертываясь, точно ставя всё новые паруса, медленно проплывали в зените округлые, сверкающие белизной, торжественные облака. Будто ярче засверкало солнце, углубилась синева, и очарованием недосыгаемости манили её пролёты, бездны синие и наиглубочайшие всех тёмных бездн морских; и похоже было минутами на великолепный смотр: будто вышла из гавани целая флотилия судов и, распустив сияющие паруса, гордясь, красуясь и затаив восторг, медленно проходит перед высочайшими взорами.

Татьяна Алексеевна заволновалась:

– Не зашла бы гроза, как вчера, тогда как же?

– Нет, – уверенно ответил Юрий Михайлович, смотри, у них края точёные. Это смотр, они скоро разойдутся.

– Тебе жаль, тебе хочется подняться выше их?

Он внимательно и немного странно – так ей уж потом казалось – посмотрел ей в лицо и глаза и ответил с своей спокойной улыбкой:

– Я тебя люблю ужасно.

На аэродроме уже был народ, и оживленно готовились к полету лётчики, выдвигали машины из ангаров, проверяли, подтягивали металлические тросы; кто-то яростно бранился в сарае, что опять привезли не того бензину; у капитана Кострецова забастовал, по неведомой причине, мотор, и он сам, ругаясь и торопясь, презирая смущенного монтера, развинчивал гайки и уже до самых глаз успел замазаться машинным маслом и нагаром. Но в общем всё обстояло благополучно, даже хорошо, и волновались, и высказывали недовольство только для того, чтобы оградиться от судьбы, не показаться ей слишком благополучными, умиловить маленькими неприятностями для избежания большой и страшной. И для той же цели никто не хотел даже сознаваться, на какую

высоту сегодня он рассчитывает, уверял лживо, что немножко; и только про Пушкарёва все знали, что, уже взявший несколько призов за точность спуска, нынче он намерен побить рекорд высоты. И что это удастся ему, никто из товарищей не сомневался; и самое чувство Рока, грозной случайности, зловеще таящейся в прозрачном воздухе, стало слабее в присутствии ясного и твёрдого человека, не скрывающего своих намерений, спокойно говорящего о них.

Заговорили громче и веселей и толпою окружили Пушкарёва; некоторые, здороваясь, целовались с ним, по-дружески открытым и крепким поцелуем в губы. С женою, Татьяной Алексеевной, здоровались так же приветливо и дружески, целовали ей руку, но видно было, что для всех она – второй человек, и постепенно её оттесняли от мужа. В другое, обычное время около неё всегда кто-нибудь оставался – из вежливости или любви к женскому обществу и разговору; а теперь она стояла одна на зелёной примятой траве и улыбалась с мягкой женской насмешливостью: было так естественно и все же немного смешно, что она, такая красивая женщина, стоит совсем одна, заброшенная, и никто в ней не нуждается, и никому она не интересна, а они собралась своей кучкой загорелых и сильных людей, смеются, сверкая белыми зубами, дружелюбно касаются локтей и плеч и ведут свой особенный мужской, серьёзный и значительный разговор. «Как они любят Юрия!» – подумала она и вдруг перестала улыбаться: снова до самого дна колыхнулась душа ощущением великого счастья, неизъяснимой радости, сердечной благодарности к тем, кто так его любит. Но ведь они ещё не совсем знают, какой он благородный, какой прекрасный и необыкновенно милый человек, а если бы знали!..

И когда подошёл к ней полковник Пряхин, старый любезник, и стал говорить любезности, она уже сама послала его к мужу:

– Пойдите к Юрию.

– Я уже виделся с Юрием Михайловичем, – ответил полковник и догадался, – что-нибудь прикажете передать?

– Нет, – она смотрела в глаза полковнику и улыбалась, – пойдите к Юрию. И тут, глядя в блестящие влажные глаза, полковник Пряхин понял, что перед ним сумасшедшая от любви, от гордости и от счастья женщина, – и ему сделалось страшно, и единственный раз за всю свою жизнь он почувствовал обманчивую призрачность солнца, земли, на которой так твёрдо стоят его ноги, всего, что окружает и в чём живет человек. «Странно!» – пробормотал он, отходя, и весь тот день, до самого его тёмного конца, бормотал это слово, не имея других, чтобы выразить всю необыкновенность представившегося ему мира: «Странно, странно!»

Уже разошлись все и начались полёты, когда Юрий Михайлович подошёл к жене и взял ее за руку выше локтя.

– Прости, Танечка, я совсем оставил тебя.

– Ничего, – ответила она, улыбаясь, – я рада.

– Но не забыл!

– Ничего, я рада. О чём вы смеялись?

– Я рассказал им о кресле, помнишь, после Собрания – для пьяных. Ты забыла?

Но ей не понравилось это, и она сказала:

– А я думала о другом, Юра! Они очень любят тебя.

– И я их люблю. Смотри, Таня, Рымба идет сюда, сегодня с ним творится что-то ужасное.

– Поговори с ним, Юра.

– А ты? Мне ведь сейчас.

– Ничего, я рада. Поговори с ним. Юра.

Но Рымба – пожилой пухлый офицер с рябым безволосым, блестящим от пота, но бледным лицом – уже сам звал Юрия Михайловича:

– Юра, на одну минуту!

– Ты что, брат, – спросил Юрий Михайлович, отходя с офицером в сторону, – волнуешься?

Рымба первый раз участвовал в состязаниях, и никто не мог понять, зачем он это делает и зачем вообще учится летать: был он человек рыхлый, слабый, бабьего складу и каждый раз, поднимаясь, испытывал невыносимый страх. И теперь в глубоких рябинках его широкого лица, как в лужицах после дождя, блестела вода, капельки мучительного холодного пота, а блеклые, в редких ресницах, остановившиеся глаза с глубокой верой и трагической серьёзностью смотрели на Пушкарёва.

– Юра! Нет, Юра, скажи серьёзно, как честный человек: ничего? А? Нет, ты серьёзно, как честный человек, Юра?

Юрий Михайлович что-то обдумал, заглянул куда-то и серьёзно, с твёрдой убежденностью ответил:

– Ничего, все хорошо. Лети.

Рымба помолчал и с той же серьёзностью сказал:

– Спасибо.

И трижды, крепко, словно христосуясь, поцеловал Юрия Михайловича в губы и коротко, но выразительно потряс руку. А когда Рымба проходил мимо Татьяны Алексеевны и кланялся ей – она счастливо улыбалась, а он смотрел на неё, как на союзницу, и в ответ на её улыбку тихо, продолжительно и приятно вздохнул: так-то, видите, какое дело! Мятые голенища его высоких офицерских сапог были слишком широки и сползали, сползали и брюки из-под короткой серой тужурки, висели сзади мешком – и уж какой он был авиатор! Татьяна Алексеевна смотрела ему вслед и почему-то не обернулась, когда сбоку подошёл и молча встал Юрий Михайлович. И, не оборачиваясь, продолжая улыбаться далеко шагавшему, нескладному Рымбе, она поняла и почувствовала, что муж внимательно, упорно и близко смотрит на её щеку, на профиль чёрных ресниц, на улыбающиеся губы; и почувствовала тёплый ветер, свежо и мягко прошедший по глазам; и это было счастье.

– Я люблю тебя ужасно, – сказал Юрий Михайлович и осторожно коснулся её руки выше локтя, где она была горячая и под тонким шёлком совсем близкая; и рука в этом месте стала счастливая. Но и тут не обернулась Татьяна Алексеевна, как будто ничего не слыхала; и только улыбка тихо сошла с лица, и стало оно покорным, робким и для самой себя милым: любовью мужа любила себя в эту минуту Татьяна Алексеевна и так чувствовала себя всю, как будто есть она величайшая драгоценность, но страшно хрупкая, но чужая – надо очень беречь! И трава зеленела, прекрасная земная трава, и ветер веял, обвевал свежо и мягко обнажённую шею. И совсем далеко шагал нескладный Рымба. И трепыхались цветистые флаги на трибуне; хотели оторваться от древка, взвивались и мягко падали.

– Ветер, кажется, – сказала Татьяна Алексеевна и обернулась к мужу: он смотрел на неё. И глаза его сияли.

Прощаться пришлось при народе, и прикосновение губ было легко, как паутина; но самый крепкий поцелуй не ложится так неизгладимо на лицо, как эта тончайшая паутинка любви: не забыть её долгими годами, не забыть её никогда. И вот ещё чего нельзя забыть: розоватого шрафика на лбу у Юрия Михайловича, около виска, когда-то, маленький, играя, он ударился о железо, и с тех пор на его чистом лбу остался этот маленький, углубленный шрафик. И его не забыть никогда.

Вдруг явно и немного страшно опустела земля – это значило, что Юрий Михайлович поднялся с земли на своём «Ньюпоре». Но странно! – даже не дрогнуло сердце, не сделало лишнего удара: так непоколебимо было величие счастья. Вот с шумом он пронёсся над самой её головою: делал первый круг, поднимаясь, но и тут не забило сильнее её сердце. Обратив лицо вверх, как и все на земле, она смотрела на восходящие круги аэроплана и только тихонько, с усмешкой, вздохнула: «Ну конечно, теперь он меня не видит! Высоко!»

IV

Там, откуда ночью лил дождь и где перекатывался гром, освещая свой ночной путь среди туч и хаоса, теперь было тихо, лазурно и по-небесному просторно. Безмолвно и широко плыли редкие облака по своим невидимым путям, солнце одиноко царило, и не было ни шума, ни голосов земных и не единого знака земного, который обозначал бы преграду.

При первых кругах Юрий Михайлович еще смотрел вниз: на зелёную с песочком карту аэродрома, на неподвижную чернь толпы, похожей на чернильное разбрызганное пятно, – все ещё считался с землею и привычно ожидал от неё какой-нибудь внезапности, мгновенного препятствия. Но на пятом кругу, вместо того чтобы плавно очерчивать поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома; и уже над лесом, в просторе и тишине, стал подниматься выше. «Хорошо бы теперь погулять в лесу», – подумал он снисходительно и ласково и вдруг ощутил с необыкновенной ясностью знакомый с детства, приятный, сырой запах леса, почувствовал под ногами траву и землю, даже как будто заметил низенький гриб под тёмной старою листвою. И тут только понял, что лес далеко, а он летит – не идёт, как всю жизнь шёл на свинцовых подошвах, а летит по воздуху, ни на что не опирается, со всех сторон объёмлется прозрачной и светлой пустотою. Только кратчайшее мгновение прошло, как отделился Юрий Михайлович от земли, а уже находится он в мире ином, в иной стихии, легкой и безграничной, как сама мечта; и с ужасающей силой, почти с болью снова почувствовал он то волнующее счастье, что, как жидкость золотая и прозрачная, всю ночь и весь день переливалась в его душе и в его теле. Даже дыхание захватило от счастья и слёзы подступили к глазам – с той, с другой, с невидимой стороны глаз, где слёзы знают только самим человеком. «Что же такое милое я вижу? – подумал он. – Что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое милое».

И с этой минуты он почти перестал смотреть на землю: она ушла вниз и далеко, с своими зелёными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травой и цветами, со всей своей радостью и робкой, ненадежной земной любовью; и её трудно понять, и её трудно, даже невозможно, вспомнить – крепок и ясен жгучий воздух высот, равнодушен к земному. Даже улыбаться здесь не пристало – пусть с той, с другой, с невидимой, стороны, как и слёзы, подходит к устам счастливая и скромная улыбка, – но нельзя её показывать, пусть строго и серьёзно остается лицо. «Уже высоко, – подумал Юрий Михайлович. – Уже высоко, но надо ещё выше: ведь здесь такой простор, что можно и вперед и вверх, и назад вниз; можно, как я хочу: всё моя дорога». И на долгое, как ему показалось, время он ушёл в серьёзную и важную работу, весь сосредоточился в радости управления.

Даже на свинцовых подошвах земли он любил всякое произвольное движение, свободные повороты, неожиданные скачки в сторону: оттого и не терпел с самого детства ни улиц, ни тропинок, ни самых широких дорог, где наследственно предначертан путь – как в извилинах мозга стоит, застывши, умершая чужая мысль. Здесь же не было наезженных путей, и в вольном беге божественно свободной сознала себя воля, сама окрылилась широкими крылами. Теперь он и его крылатая машина были одно, и руки его были такими же твёрдыми и как будто нетелесными, как и дерево рулевого колеса, на котором они лежали, с которым соединились в железном союзе единой направляющей воли. И если переливалась живая кровь в горячих венах рук, то переливалась она и в дереве и в железе; на конце крыльев были его нервы, тянулись до последней точки, и концом своих крыльев осязал он сладкую свежесть стремящегося воздуха, трепетание солнечных лучей. Он хотел лететь вправо – и вправо летела машина; хотел он влево, вниз или вверх – и влево, вниз или вверх летела машина; и он даже не мог бы сказать,

как это делается им: просто делалось так, как он хотел. И в этом торжестве воли хотящей была суровая и мужественная радость, та, что со стороны кажется печалью и делает загадочным лицо воина и триумфатора.

Глубоко внизу дымилась чаша земли, как котёл: кажется, то облако внизу проходило; но о земле не хотелось думать и не думалось. И чтобы сильнее почувствовать свою волю, Юрий Михайлович закрыл глаза: на мгновение, как в зеркале, он увидел своё побледневшее светящееся лицо; и дальше ему почудилось, что от головы его стелются назад светлые ленты лучей, отвешаются назад и веют перья блестящего шлема, – будто стоит он на колеснице, крепко зажав в окаменевшей руке стальные вожжи, и уносят его ввысь огненные небесные кони. И дальше показалось ему, что он вовсе и не человек, а сгусток яростного огня, несущийся в пространстве: отлетают назад искры и пламя, и светится по небу горящий след звезды, вуаль голубая. Так долго летел он вверх – странная человеческая звезда, от земли уносящаяся в небо.

В это время он поднялся уже высоко, пропадал из глаз, и долго надо было скитаться взорами по небесному океану, слепнуть от солнечных лучей, искать и разыскивать среди огромных редких облаков, чтобы найти и увидеть высоко летящего. И как ни редки были крупные округлогрудые, постепенно уходящие облака, снизу казалось, что от них на небе тесно; и мнилось минутами, что летящий скользит и ищет прохода между облаками, как ищет между островами прохода мореплаватель: никто не знал внизу, как там просторно, как широки арчатые ворота и безбрежны голубые проливы, как царственно великолепен, широк и свободен небесный архипелаг. Но таяли облака, уходили по склону, синими сфинксами на подвёрнутых лапах сторожили горизонт; и видимо даже для глаз, смотрящих исподнизу, креп, густел и разливался беспредельно великий небесный простор, пустынный океан.

Юрий Михайлович открыл глаза и взглянул вниз, на землю. И подумал, поднимая глаза от дымящейся земли:

«Вот и сбылся мой счастливый сон, вот уже я и в святом жилище моём, хожу среди моих высоких зал, и нет со мною никого, только свет один. Но что же милое я вижу? Я один ведь. Но что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое, такое. Счастье моё, моя душа, моё счастье. Я люблю тебя ужасно».

И снова с ужасающей силой, трижды с силой, с болью открытой крови и текущих слёз почувствовалось волнующее счастье, трепет блаженнейших предчувствий, блаженство рокового. Далеко, совсем далеко, как последний звук спетой песни для уходящего, неясное слово земной любви, вспомнилось милое лицо, профиль чёрных ресниц, матово-розовая щека, томящаяся неслышным криком нежности; вспомнилось, как спала она тихо возле, как дышала тихо – совсем возле; и как будто нашлось объяснение восторгу и любви. «Милая, – подумал он нежно и дрогнул сердцем, – милая, я люблю тебя ужасно!» Так подумал он и в следующее мгновение забыл – совсем и навсегда забыл, забыл о любимой. Иному предалось его сердце и в суровой нежности своей на иную встало стражу.

Что думал он в эти последние свои минуты, когда, снова закрыв глаза, он летел безбрежно, не чувствуя и не зная ни единого знака, который означал бы преграду? Чем был в сознании своём? Человеческой звездой, вероятно; странной человеческой звездой, стремящейся от земли, сеющей искры и свет на своём огненном и страшном пути; вот чем был он и его мысли в эти последние минуты.

Колыхалась машина в высоте, как ладья на волнах воздушного моря; на крутых поворотах она кренилась дико, умножая бешеную скорость падением, оглушала себя рокотом и звоном винта, взвизгами и всплесками рассеяемого воздуха, разошлись облака, оголив холодеющую лазурь, и солнце одиноко царило. Одиноко царило солнце, и был между ним и землёю только один предмет и один человек; и озаряло оно, не грея, то светлые тонкие крылья, то смуглое побледневшее лицо; играло искрами на металле. И в одну из этих минут, когда солнце близко и огненно блеснуло ему в глаза, всего его, до

самого сердца, наливши легким подымающим светом, – Юрий Михайлович громко и странно выговорил:

– Нет!

Слов его не слышно было бы другому за шумом машины, но он слышал себя; и громко он сказал то, что еще в снах ночных волнующих, в тяжёлом видении сонного денщика, колющего лучину, в образе милых лиц и милых глаз опозналось взволнованной душою, как необыкновенное счастье. Он сказал:

– Нет! На землю я больше не вернусь.

Он сказал эти странные слова, обрекавшие его на смерть, и спокойно замолчал: и здесь он сохранил любовь к молчанию, свой дар приятный. И спокойно продолжал свой бешеный бег в пространстве. Если бы он мог, он увеличил бы быстроту и увеличивал бы её безгранично; но этого не допускала машина, и он стал делать другое, по виду безумное; и так его и поняли с земли. Он стал резать пространство кривыми линиями, ломаными и причудливыми, неожиданными и прекрасными, как полёт ночной птицы, опьянённой лунным сиянием: вверх и вниз, назад и вперед, круто вбок – до ужаса влево и вниз. Задыхаясь от восторга, стиснув белые зубы, чтобы как-нибудь нечаянно не закричать, не петь глупостей, он широкими размахами пронизывал воздух, хотел убедиться, что не таит в себе невидимых и коварных преград светлое пространство: нет, режется мягко и всюду, не таит в себе преград, есть единая светлая бесконечность. Раз чуть не упал, – было одно такое мгновение! – но выправился и понесся куда-то вглубь.

Но даже и в игре неприятным казалось терять высоту; и решительно взмыл он вверх, перестал кружиться, громосвистящей ракетой понесся прямо ввысь, к своей высокой последней цели. Он уже давно забыл про себя, кто он и как попал он в воздух, а теперь он снова стал звездой, сгустком яростного огня, несущимся в пространстве, отвечающим назад искры и голубое пламя. Вдруг ему чудилось, что волосы его горят огненными прядями, волнуясь стекают вниз к земле; и вдруг понял он, что это есть прямая дорога из одной бесконечности в другую, увидел ясно, что так и влетит он, стремящийся из этой вечности в другую, где широко открытыми стоят и ждут его высокие двери его святого тайного жилища. «И как же я могу вернуться на землю? – пела его душа в блаженном забытьи. – Я вижу милое, такое милое, такое. Счастье моё, моя душа, моё счастье. Я люблю тебя ужасно.

Я был маленький мальчик, и мне хотелось перелететь через крышу: совсем невысокая, смешная, ужасно низкая зелёная крыша, прогнившая. Это моя радость поёт о том, что я был маленький мальчик и мама звала меня Юрой, Юрочкой. Были у меня отец и мама, и оба умерли; потом много было ещё чего-то прекрасного, как печаль: кого-то я люблю ужасно. Это печаль поёт во мне: кого-то я люблю ужасно. Милое дитя моё, дорогой мой мальчик, душа моя. Я буду подниматься всё выше. Тело моё отлетит от меня и упадёт, а я пойду выше, дорогой мой мальчик, любимое дитя моё, – я пойду выше. Я иду выше. Я иду. Волнуется моя душа, стремится из тела, стремится к горнему и дальнему полету, – я иду выше и без конца. Волнуется моя душа, – о дорогой мой мальчик, о дитя моё любимое, волнуется, волнуется моя душа!»

По лицу его текли слёзы, он не знал о них. Нежно белели зубы среди полуоткрытых уст, и глаза, расширенные Зрением вечности, неотступно смотрели ввысь, туда, где за синими аркадами неба сияла даль – воистину безбрежная. Слёзы текли по его лицу.

– О, какое волнение, – какое!

V

На землю он больше не вернулся. То, что, крутясь, низверглось с высоты и тяжестью раздробленных костей и мяса вдавилось в землю, уже не было ни он, ни человек, никто.

Тяготение земное, мёртвый закон тяжести сдернул его с неба, сорвал и бросил оземь, но то, что упало, свернулось маленьким комочком, разбилось, легло тихо и мертвенно-плоско, – то уже не было Юрием Михайловичем Пушкарёвым.

На землю он больше не вернулся.

1914